

УДК 316.334.55(470+571)(091)

В.В. Бабашкин

### НУЖНА ЛИ РОССИИ НАУКА О КРЕСТЬЯНАХ? РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ Я. КОЦОНИСА «КАК КРЕСТЬЯН ДЕЛАЛИ ОТСТАЛЫМИ: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ И АГРАРНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ, 1861–1914»

*Есть такая область исторической социологии, которая специализируется на теории и истории аграрно-крестьянских обществ. На Западе она возникла приблизительно полвека назад как Peasant Studies, в нашей историко-социологической литературе в начале 1990-х гг. за ней с подачи известного английского ученого Теодора Шанина закрепилось название «крестьяноведение». Этот методологический подход сталкивается с большими трудностями на пути к умам соотечественников. Даже один из лидеров нашей исторической социологии Б.Н. Миронов никак не желает в своем научном творчестве применять этот ракурс, что, например, мешает ему в статье о теоретических подходах к Русской революции первых десятилетий XX в. увидеть и адекватно оценить крестьянское содержание революционных событий [3].*

Русский перевод книги профессора Нью-Йоркского университета Янни Коцониса «Как крестьян делали отсталыми...» увидел свет в 2006 г. [2] и, как показывает практика, продолжает сохранять острую актуальность, поскольку свет в лице отечественных специалистов не торопится увидеть и по достоинству оценить эту книгу. А главное ее достоинство, по-моему, именно в крестьяноведческом ракурсе: недостаточно знать, какими теориями по аграрному вопросу руководствовались политические элиты, — не менее важно внимательно учитывать то, как крестьяне приспособивались к своим повседневным нуждам действия элит, порожденные этими теориями.

Книга профессора Нью-Йоркского университета Янни Коцониса «Как крестьян делали отсталыми...» представляет замечательную вариацию на вечную нашу тему «кто виноват» и «что делать». Замечательна она снайперским попаданием в эту тему: виноваты представители разных отрядов образованного сословия России и виноваты именно тем, что слишком хорошо знали, что делать на каждом этапе рассматриваемого пореформенного пятидесятилетия. Конечно, знание тоже было разным. Кто-то, вооружившись гегелевской «алгеброй русской революции», научно предрекал народную революцию, призывая Русь к топору. Кому-то ближе была марксова теория эксплуатации, в связи с чем необходимо было идти в народ, разъясняя последнему эксплуататорскую сущность его кровопийц и вытекающие отсюда задачи. С монетизацией по законодательству 1861 г. земли и поземельных отношений стали набирать силу идеи о том, как бы, опираясь на опыт передового Запада, облегчить для народа травмирующее действие капитализма.

Две вещи роднили между собой все эти размышления о судьбах Родины: их приверженцы были убеждены в том, что: 1) они обладают неким научным знанием о том, как и в каком направлении в разных странах мира осуществляется социально-экономический прогресс, и свет этой науки, идущий с Запада, позволяет лучше разглядеть главные проблемы

России; 2) первую среди этих главных проблем составляет техническая и умственная отсталость российского крестьянства — огромного большинства населения страны. Отечественными обществоведами было написано немало утопий, на страницах которых эти носители вековой отсталости чудесным образом превращались в участников наиболее передовых, прогрессивных общественных отношений, как фольклорный Иван-дурак непостижимо, но закономерно и ожидаемо превращается в добра молодца — всем на зависть.

Марксисты Запада предпочитали писать о России как о «восточной деспотии» с господством «азиатского способа производства», и эта традиция в основном соблюдалась в трудах советологов XX столетия. В методологию теории прогресса, или модерна, взгляд на Россию как на вечно догоняющее общество, как на «карикатурное отражение Запада», вписывается идеально. Я. Коцонис обращает внимание на то, что даже в недавних публикациях «исследователи-марксисты следуют именно этой традиции, так как указывают, что шествие исторического прогресса на Западе остановилось на рубеже Эльбы, Одера и Вислы. Все остальное — это уже не история, а ее отсутствие, т.е. история того, что не случилось» [2, с. 16–17].

Но, как известно, «у советских собственная гордость — на буржуев смотрим свысока». Такой марксизм соотечественникам-марксистам был ни к чему, лидер наиболее решительного их крыла клеймил такие вещи словом «ревизионизм». Его собственный марксизм в главном сводился к тому, чтобы все время приспособливать эту, несомненно, передовую западную общественную науку к российской действительности, которая более чем на 80% состояла из крестьян-общинников. Английский историк-социолог Теодор Шанин писал в этой связи о «четырех с половиной аграрных программах В.И. Ленина» [6]. В качестве последней «половинки» им рассматривалась риторика ленинской статьи «О кооперации», о «строе цивилизованных кооператоров» как необходимом и достаточном условии для торжества в России более передового по сравнению с капиталистическим Западом общественно-экономического устройства. Такая вот очередная крестьянская утопия. Из нее впоследствии идеологи-профессионалы сделали «научное прозрение», «ленинский кооперативный план», в соответствии с которым все и развивалось. Вот так сказку удалось сделать былью: если отсталая деревенская реальность никак не желает по волшебному слову науки становиться передовой, значит, нужна другая наука. Ее азы И.В. Сталин доходчиво разъяснил участникам конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г., и она довольно долго просуществовала в СССР в функции догматов веры под именем «марксизм-ленинизм», не имея ни к Марксу, ни даже к Ленину никакого отношения.

Обо всем этом мог бы писать Я. Коцонис, потому что предложенный им подход позволяет наиболее адекватно анализировать важнейший вопрос российской истории: почему в этой истории общественная теория и практика все время представляют собой столь сложное хитросплетение; почему те, кто хочет, как лучше, все время наталкиваются на сопротивление материала, наилучшие побуждения в столкновении с реальностью оборачиваются неожиданными последствиями. Правда, тогда его книга должна была бы называться «Как крестьян делали передовыми...», т.е. как вчерашние средневековые общинники в одночасье оказались носителями передового социалистического строя, участниками социалистической колхозно-кооперативной собственности, а то и рабочими крупных государственных предприятий — совхозов. Но американский исследователь написал о другом. В фокусе его интереса находится то, что думали и как действовали в отношении крестьян представители разных поколений кооперативной мысли в России и как действовали в предлагаемых условиях сами крестьяне.

Он приступает к анализу этих событий с начала пореформенной эпохи, когда до возникновения советского варианта теории прогресса оставалось еще добрых 70 лет и современникам приходилось руководствоваться западным ее вариантом при осмыслении российской действительности. Крестьянам тогда был юридически приписан статус (*ascribed legal identity*) «почти свободных людей» [2, с. 19], поземельным отношениям было предписано эволюционировать далее на денежно-рыночной основе — как на Западе. Естественно, что у передовых, наиболее ответственных представителей дворянского сословия возникала потребность посмотреть, какие формы участия населения в рыночных отношениях существуют в западноевропейских странах, на предмет возможного применения этого опыта среди освобожденного трудового крестьянства России.

Поездка дворян В.Ф. Лугинина и Н.П. Колюпанова в немецкий город Делич в 1863 г. и знакомство с деятельностью ссудно-сберегательных товариществ местных ремесленников породила мечту о том, что подобное вполне возможно в среде русских крестьян — и навыки общинного землепользования должны только способствовать успешному ведению дел в подобных товариществах. Так возник первый в России сельскохозяйственный кооператив, созданный В.Ф. Лугининым в деревне Дороватово Калужской губернии в 1866 г. Идеи крестьянской кооперации и практика организации подобных учреждений быстро набирали популярность. Дворяне — энтузиасты этого дела использовали свои средства, связи и авторитет в своих кругах, убеждая уездные и губернские земства, государственные органы материально способствовать созданию крестьянских кооперативов. Идею и организационную поддержку оказывали представители разночинной интеллигенции. Статистика обнадеживала. Начинало казаться, что идея соединения крестьянского коллективизма с привносимой образованными сословиями рациональностью и научностью отлично отвечает на вопрос «что делать?», а стало быть, и умом Россию понять, и аршин сгодится тот же, что для немцев.

Инициаторам земского и государственного финансирования кооперативного движения хотелось верить, что отражаемое статистикой количество полученных крестьянами ссуд на приобретение паев в кооперативах показывает успешный ход кооперирования крестьянского хозяйства. Отрезвление стало приходиться, когда земства и Государственный банк приступили к возврату выданных ссуд. Тот факт, что большинству заемщиков отдавать было нечем, требовал внимательнее посмотреть, а на что же собственно эти ссуды расходовались. Экономически рациональное их расходование по идее и должно было обеспечить своевременный возврат. Но это если идея правильная. Я. Коцонис приводит самые разнообразные ситуации, которые складывались в разных губерниях в связи с появившимися у крестьян возможностями брать ссуды на покупку паев в кооперативах [2, с. 34–52]. Общим в этом разнообразии было то, что в большинстве случаев крестьяне, в отличие от ремесленников г. Делича или своих же братьев бауэров, не хотели понимать, что деньги ссужаются на развитие сельскохозяйственного производства. Они воспринимали эти средства как привычную поддержку обедневшей пореформенной деревни со стороны имущих сословий, внешних по отношению к общине носителей экономической и политической власти в рамках того, что в современной социологической литературе описывается как морально-экономические отношения [1]. В этом случае возврат и не предполагался — достаточно было того, что крестьяне как тяглое сословие своим трудом кормили этих представителей власти и других нахлебников.

Получаемые ссуды распределялись, как правило, в традициях общинного эгалитаризма и чаще всего использовались не на создание паявого артельного капитала, а на более насущные нужды — уплату налогов, покупку потребных в хозяйстве товаров и даже

общедеревенское гулянье по поводу получения ссудных средств. Там, где создание артелей было непременным условием получения денег, они создавались, но после распределения земских ссуд чаще всего исчезали. Большинство фигурировавших в отчетах артелей, как выясняли специальные комиссии и проверки, вообще никогда не существовали. Это очень похоже на то явление, которое описала английский историк Дж. Пэллот, изучая подробности осуществления столыпинской реформы: некоторые крестьяне объявляли себя выделившимися из общины, поскольку это было условием получения подъемных от правительства на обустройство собственного хозяйства, но по сути никак не меняли свой образ жизни и привычные взаимоотношения с общиной [4].

Фальшивые артели, существовавшие лишь на бумаге либо до момента распределения ссуд, равно как и другие всевозможные способы, к которым прибегали крестьяне с целью получения ссуд на кооперацию, практически никак не изменяя свое общинное бытие, свидетельствовали о способности крестьян манипулировать представителями политической власти и интеллектуальной общественности [2, с. 53]. Создание ложных частных крестьянских хозяйств на отрубках поколением позже — из той же оперы. Современные специальные исследования в области теории и истории аграрно-крестьянских обществ содержат множество свидетельств этой удивительной способности крестьян повсеместно говорить и делать то, что ожидают видеть и слышать политические и интеллектуальные элиты, стремящиеся к радикальным переменам в этой консервативной среде и вдруг с удивлением обнаруживающие отсутствие перемен. Это одна из форм скрытого повседневного сопротивления крестьян политике властей, от которой хорошего не ждут. С легкой руки первопроходца в данной области исследований американца Дж. Скотта эти формы называют «оружием слабых» [5].

Факты, которые в изобилии приводит Я. Коцонис в связи с тем, чем оборачивались на практике самые благие намерения первого поколения русских кооператоров, говорят о том, что крестьяне пореформенной поры в России неплохо владели этим «оружием». На вопросы земских интервьюеров они интуитивно находили те ответы, которые от них желательно было слышать. Так, автор описывает случай, когда жители одной новгородской деревни в течение десятилетия получали от земства ссуды, создавая у себя то одно, то другое ссудно-сберегательное товарищество: «К 1884 г. каждый житель деревни был должен различным кооперативам по 80 руб., и представитель земства в сопровождении уездного исправника прибыл в деревню, чтобы выяснить, “видят ли мужички пользу” от этих товариществ, то есть вкладывают ли крестьяне, и насколько продуктивно, полученные от земства деньги, чтобы потом, используя прибыль, выплатить ссуду. Расследователь отбыл, удовлетворившись единодушным и, казалось, всеобщим ответом: “Видим, батюшка, большую пользу, дай Бог тому здоровья, кто это задумал!”» [2, с. 43].

В принципе так же ведут себя герои очерка Г. Успенского «Чудак-барин» или воспринявшие эту традицию в следующем поколении герои рассказа П. Романова «Дым» (когда представитель советской власти приехал в деревню, чтобы в самой жесткой форме предупредить крестьян о недопустимости тратить зерно на самогон, но столкнулся с таким искренним возмущением против тех, кто так поступает, что поехал назад вполне собой довольный). Аналогичное поведение крестьян зафиксировано в материалах этнографического бюро князя В.Н. Тенишева. Иными словами, кому-то из современников были понятны некоторые техники крестьянского лицемерия в общении с представителями внешнего по отношению к общине мира, однако деятели кооперативного движения не были готовы признать себя объектами манипулирования. Далекие от ожидаемых результаты первых опытов кооперирования крестьянства в России они склонны были объяснять отсталостью и

безграмотностью крестьян, их нежеланием видеть свою выгоду, понимать простые истины социально-экономической науки.

Вопрос, все ли ладно с этой наукой, стал проясняться в связи с разрушительной критикой, которой отец русского марксизма Г.В. Плеханов подверг книгу известного публициста-народника В.П. Воронцова «Артельные начинания русского общества» (1895). Последний описывал огромное количество провалов этих начинаний, однако же настаивал на жизнеспособности кооперативов как специфически русских учреждений и необходимости их дальнейшей поддержки. Первый исходил из своей науки, по которой противостоять «железной поступи прогресса» бессмысленно, и капитализм неизбежно придет в русскую деревню, обрекая крестьянство на историческое небытие; более того, к моменту данной полемики «капитализм» уже был для деревни свершившимся фактом [2, с. 52–53]. Я. Коцонис остроумно подмечает, что представители обеих спорящих сторон сходным образом пользовались данными земской статистики, игнорируя статистику межрегиональных различий, но охотно воспринимая суммарные показатели, к которым сводились данные местной статистики и из которых можно было сделать вывод о горизонтальной (но не о вертикальной) дифференциации сельского населения [2, с. 55]. Для народников это было свидетельством укрепления в деревне фигуры кулака-миroeда, которой должна быть противопоставлена кооперативная солидарность; для марксистов это свидетельствовало о появлении сельской буржуазии и сельского пролетариата, на что и указал Ленин в «Развитии капитализма в России» (1899).

Интересно, что сам К. Маркс, с удивлением узнав о существовании в России марксистов, в ответ на письмо соратницы Плеханова по группе «Освобождение труда» В.И. Засулич, которая из авторитетных уст хотела услышать методические рекомендации по применению самой передовой общественной науки к российской действительности, категорически это применение не рекомендовал, а советовал обратить внимание на крестьянскую общину. Именно этому институту, исследованием которого он занимался специально, в том числе и на оригинальных русских источниках, суждено было, по его убеждению, составить основное содержание эволюции русского общества, а потому необходимо было обеспечить «нормальные условия для его естественного развития» [7, р. 124]. Вот, значит, какую науку завещал развивать русским интеллектуалам великий Маркс — науку о крестьянах. А как иначе определить, каковы нормальные условия для естественного развития русской крестьянской общины?

По существу Маркс оказался прав. В современной российской историографии существует целая школа, представители которой рассматривают бурные события первых десятилетий XX в. в истории России с точки зрения «крестьянской революции 1902–1922 гг.». А такой крутой методологический поворот оказался возможен лишь на основе более пристального внимания к общинным сюжетам (которые всегда были жестко табуированы в советской «марксистско-ленинской» исторической науке), более тесной интеграции с историками-социологами Запада, где уже немало сделано в плане развития теории и истории аграрных обществ (Peasant Studies, или крестьяноведение).

Я. Коцонис резонно указывает, что открытие западными учеными для себя работ А.В. Чаянова и других ученых организационно-производственного направления помогло историкам «незаметно отойти от более ранних, уничижительных характеристик крестьян как “мешков с картошкой” и найти пути толкования внутренней согласованности тех действий крестьянина, которые казались иррациональными; кроме того, это вдохновило их на новую попытку выяснить, что же стоит за внешней непостижимостью русского крестьянства. Однако в ту пору, когда подобные идеи появились в России — после 1905 г., никто не сомневался, что

крестьяне обрабатывают землю “неправильно” и “неразумно”; и даже если крестьянские действия поддавались какому-то объяснению, это совсем не значило, что их можно было сознательно допускать» [2, с. 163].

Представители «общественной агрономии», которую Чаянов описал как науку не столько техническую, в отличие от агрономии XIX в., сколько социальную, много сделали для разработки «семейно-трудовой теории» крестьянского хозяйства. Они были убеждены, что причиной российской «отсталости» является социальная организация крестьян, но главную свою цель видели не в изучении подробностей этой организации, а в разработке практических шагов, которые должны были осуществлять крестьяне в направлении своей новой организации. Ее абрис, связанный опять же с крестьянской кооперацией, пытались увидеть в опыте европейских стран, особенно Дании: «Образ неунывающего владельца небольшой фермы, члена мощного кооперативного союза, вытеснил все другие модели: этот фермер был вполне способен жить в эпоху капитализма, потому что он (и такие же, как он) находился вне капиталистической системы» [2, с. 162].

Таким образом, новое поколение кооператоров унаследовало от своих предшественников главное: «презумпцию неправомерности» крестьян, утверждение об их имманентной неразвитости и необходимости внедрять в их среду здоровые идеи, преодолевая «отсталость» [2, с. 218–219]. Но в 1917–1918 гг. волею судьбы «вне капиталистической системы» оказалась вся страна, а не только те примерно четверть крестьянских хозяйств, которые, по лукавой статистике, были охвачены к 1914 г. всеми формами кооперации. Возврат к товарно-денежным отношениям в 1920-е гг. повлек и возрождение крестьянских кооперативов, и смутные представления о «строе цивилизованных кооператоров».

А шестьдесят лет спустя, в связи с реабилитацией А.В. Чаянова и Н.И. Бухарина в нашей литературе стали появляться столь же смутные представления о том, что в конце 1920-х гг. существовала реальная кооперативная альтернатива сталинской коллективизации. Я. Коцонис льет свой ушат холодной воды на где-то еще теплящиеся уголки таких идей: появление на исторической арене советской власти питали те же интеллектуальные и социальные корни, что и кооперативное движение. Советская власть восприняла от него убеждение, что с вековой «отсталостью» деревни может быть покончено радикально при помощи передовой науки, которая, пользуясь интегрирующей статистикой, социальной схемой, четко улавливает кулака как антикрестьянский «капиталистический» класс. Силовым натиском было покончено и с крестьянством, и с капитализмом, и с кооперативами [2, с. 293–294].

А что же осталось? Некоторые авторы считают, что в результате коллективизации крестьянство ушло в историю, но не из истории, продолжая влиять на общественную систему в целом через культуру, менталитет, стереотипы поведения, в том числе и те, что не раз ставили в тупик поколения русских кооператоров.

## Литература

1. Бабашкин В. В. Концепция «моральной экономики» крестьянства и российская деревня начала XX века // Крестьяноведение: теория, история, современность. 2011. С. 135–156.

- 2 Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми : с.-х. кооперативы и аграр. вопрос в России, 1861–1914. М. : НЛО, 2006. 320 с.
- 3 Миронов Б. Н. Русская революция 1917 года в контексте теорий революции // Общественные науки и современность. 2013. № 2, 3.
- 4 Пэллот Дж. Разрушила ли общину столыпинская реформа // Отечественные записки. 2004. № 1. С. 172–187.
- 5 Скотт Д. Оружие слабых: обыденные формы сопротивления // Крестьяноведение: теория, история, современность.. 1996. С. 26–59.
- 6 Шанин Т. Четыре с половиной аграрных программы В. И. Ленина: крестьяне, интерпретаторы Маркса, русская революция // Крестьяноведение: теория, история, современность, 1999. С. 26–61.
- 7 Late Marx and the russian road / ed. by T. Shanin. New York, 1983.